

> МАТИС ТРАЛЪ >

МАРИЯ КОРЕЛЛИ

Ардаф
История мертвого «Я»



Москва

УДК 821.111-31
ББК 84(4Вел)-44
К66

Maria Corelli

ARDATH: THE STORY OF A DEAD SELF
1889

Перевод с английского *Александры Глебовской*

Литературный редактор *Анна Матвеева*

Иллюстрация на переплете *Натальи Портяной*

Корелли, Мария.

К66 Ардаф. История мертвого «я» / Мария Корелли ; [перевод с английского А. Глебовской]. — Москва : Эксмо, 2027. — 640 с. — (Магистраль. Главный тренд).

ISBN 978-5-04-243337-5

Английский писатель Теос Альвин молод, знаменит, но глубоко несчастен: успех не заменил ему ни веры, ни любви, ни смысла. Пока не появляется странная посетительница, а следом и загадочный восточный гость Гелиобас, хранитель халдейского братства. В его руках — одна из семидесяти утраченных книг Ездры, написанных на «языке пророчеств», и в ней всего несколько строк о поле Ардаф: пустом, выжженном, но исполненном знаков.

Альвин отправляется туда — и, оставшись ночью один среди диких трав, проваливается в сон, который окажется длиннее и реальнее его жизни. Он просыпается поэтом при дворе Аль-Кируса — в городе, которому за роскошь, гордыню и грехи уже вынесен приговор. Царь Зефораним, царица-куртизанка Лизия, безумный пророк Хосрул, предрекающий гибель в огне... Альвин проживает чужую судьбу до последнего дня, чтобы вернуться другим человеком — и понять, что спасение не в славе и не в знании, а в том, что он едва не проглядел.

Мистика здесь соседствует с язвительной сатирой на литературный Лондон, а восточные видения — с точным, почти документальным разговором о вере, тщеславии и цене бессмертия.

Впервые переведено на русский язык!

УДК 821.111-31
ББК 84(4Вел)-44

ISBN 978-5-04-243337-5

© Глебовская А., перевод на русский язык, 2027
© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательство «Эксмо», 2027

Часть I

СВЯТОЙ И СКЕПТИК

Тогда, сестра, лишь прихотью считаю
Стремленье к славе тех, кто издалече
Любви бессмертной движется навстречу
И сам бессмертен. Ты в недоуменье?
Но эти вещи истинны: в строенье
Нет атомов, гудящих в нашей дрёме,
Которые, ведя к тупой истоме,
Роятся в бреднях. Нетерпенье гложет
Мой дух, который, знаю, жить не сможет
Единственной мечтой — до появленья
Надежды за теньями сновиденья.

*Джон Китс*¹

ГЛАВА I

МОНАСТЫРЬ

В самом сердце Кавказских гор собиралась свирепая гроза. Мрачные тени сгущались, нависая над Дарьяльским ущельем — заглублённой тропой, тонкой ниткой протянувшейся между одетыми в снега пиками гор и чёрными пропастями под ними; тучи, на окраинах которых плясали зеленовато-белые вспышки, тяжело, но стремительно проносились мимо иззубренных гребней, среди которых, выделяясь своей громадой из тумана, стыла, сверкая белизной на тёмном фоне сурового неба, заснеженная вершина Казбека. Подступала ночь, хотя на востоке ещё алела яркая полоса, подобная ране на груди неба, — она показывала, где именно час назад закатилось солнце. Время от времени поднимался ветер, вздыхал и всхлипывал в высоких бесплотных соснах — вцепив-

¹ Перевод Евгения Фельдмана. (Прим. переводчика.)

шись узловатыми корнями в неприютную почву, они из последних сил удерживались на каменистой поверхности; к их горестному бормотанию примешивался хриплый далёкий рёв, будто от падавшего со скал потока, и время от времени к нему добавлялись глухие удары — то лавина соскальзывала с уступа на уступ на своём разрушительном пути вниз. Сквозь пар, поднимавшийся от земли, проступали голые крутые склоны окрестных гор, а их ледяные пики, подобно воздетым кинжалам, пронзали острым блеском толщу спустившегося тумана, из которого совсем недавно начали не столько падать, сколько сочиться крупные капли. Ветер всё усиливался, и вот уже сосны задрожали, забились под внезапными свирепыми порывами, алая щель на небе затянулась, и сквозь сгущающуюся тьму блеснула раздвоенная молния. Почти тут же раздался оглушительный раскат грома, прозвучал во все стороны от ущелья долгим могучим эхом, а потом — с шипением и завихрением дождевых струй — гроза разразилась во всей своей неукротимости. Сильнее, сильнее! Раскалывая огромные ветки и отбрасывая их, будто соломинки, превращая речушки в безудержные потоки, которые устремлялись повсюду, унося с собой валуны, камни и огромные пласты снега — сильнее, сильнее! С неумолимой свирепостью разрушительная стихия бушевала, гроыхала и вскрикивала по всему Дарьялу. Спустилась ночь, грохот стал мощнее, неумолчнее, и тут по взвихренному воздуху вдруг поплыл в несказанной неге прекрасный звук — медлительный размеренный звон колокола. Вперёд-назад, вперёд-назад — серебристый тон звучал мягко и отчётливо: то звонили к вечерне в Ларском монастыре, стоявшем довольно далеко, среди обступавших ущелье утёсов. Там ветер ревел и бушевал громче всего, описывал круги у здания с зубчатыми башнями, стучал в ворота, извлекал горестные стоны из тяжёлых железных петель, швырял градины в стрельчатые окна, ярился и за-

вывал на каждом углу, в каждой расщелине, а вспышки молнии зловещими змеями всползали на высокий железный крест, венчавший крышу, будто бы твёрдо для себя решив низвергнуть распятие и взломать осеняемые им прочные древние стены. Снаружи — беснование бури, но внутри царили мир и покой, которые только укреплял негромкий рокот органа; мужские голоса, сливаясь, стройно исполняли «Магнификат», и гармоничные звуки величественного древнего гимна победоносно перекрывали шум бури. Монахи — насельники этой уединённой обители, бывшей крепости, а ныне скита, — собрались в небольшой часовне, своего рода пещере, грубовато высеченной в естественной скальной стене. Числом пятнадцать, они стояли рядами по трое, белые шерстяные одежды касались земли, белые клобуки были откинuty назад, тёмные лица и пылающие глаза благоговейно обращены к алтарю, на котором, непостижимо и одиноко, сиял Огненный Крест. С первого же взгляда было видно, что это своеобразная община, отправляющая некий своеобразный культ: одеяния их типом своим и деталями сильно отличались от тех, какие принято носить во всевозможных религиозных братствах греческой, римской или армянской веры, и была у них у всех одна общая примета, явственно отделявшая их от других монашеских орденов: отсутствие безобразящей внешность тонзуры. То были мужчины приглядной внешности, в самом расцвете сил, и «Магнификат» они читали не сонно и уныло, но звучно и выразительно, что даже вызвало лёгкое удивление и презрение в заскорузлой душе неохотно внимавшего всему этому слушателя. Путник этот прибыл в монастырь вечером и намеревался побыть до утра: мужчина благородной и несколько заносчивой внешности, со смуглым печальным лирическим лицом, примечательным прежде всего смесью мечтательного пыла и холодного презрения — именно такое выражение неведомый скульптор эпохи Адриана поймал и за-

печатлел в мраморной фигуре своего увенчанного плющом Антиноя-Диониса, улыбающегося мило, но жестоко, что свидетельствует о постоянных сомнениях касательно сути вещей и людей. Одет он был в грубоватый дорожный костюм странствующего англичанина, и его атлетическая фигура в простом современном платье выглядела на диво неуместно в этой загадочной пещере — каменные стены и пылающий символ спасения гармонировали только с живописными, похожими на пророческие фигурами братии в белых одеждах; он разглядывал эти фигуры, стоя за последним рядом, и в гордых усталых глазах его сквозила насмешка.

«Что это за люди? — размышлял он. — Недалёкие или криводушные? Третьего не дано, потому что тогда не возносили бы они хвалы божеству, доказательств существования которого нет и быть не может. Так что речь тут либо о полном невежестве, либо о лицемерии — а может, об их сочетании. Я готов простить невежество, но не лицемерие, ибо сколь бы плачевны ни были плоды Истины, но Истина всегда торжествует; если её убить, с нею погибнет и потаённая красота Вселенной — и что тогда? Впрочем, может, лучше пусть будет так, чем если Вселенная и далее продолжит казаться красивой только лишь через призму лжи».

Едва он задался этим вопросом, его прямые брови озадаченно сошлись в одну линию, он беспокойно задвигался. Его стало одолевать нетерпение, монашеские голоса зазвучали монотонно, горящий крест на алтаре слепил своим светом. Кроме прочего, ему неприятны были все виды религиозных обрядов, хотя, будучи любителем древней классики, он, возможно, проявил бы живой интерес к празднеству в честь Аполлона или Дианы. Но само слово «христианство» казалось ему вздором. Подобно Шелли, он считал эту веру пошлым варварским суеверием. Подобно Шелли задавался вопросом: «Если Бог сказал, по-

чему мир в это не верит?» Он уже начинал жалеть о том, что оказался в этом чертоге лицемерной святости, при том, что у него были веские личные основания туда попасть — основания, столь заметно шедшие вразрез с его нынешними жизненными обстоятельствами и характером, что сама мысль о них ввергала его в тайную досаду, хотя он и дал себе слово исполнить задуманное. До сих пор он успел познакомиться лишь с двумя из монахов — людьми любезными и добродушными: по прибытии они приняли его с привычным гостеприимством, ибо правила монастыря предписывали давать приют всем припозднившимся путникам, следовавшим по полному опасностей Дарьяльскому ущелью. У него не спросили ни имени, ни гражданства, в нём увидели очередного незнакомца, застигнутого непогодой и нуждающегося в укрытии, — и обошлись с ним соответственно. Препроводили в трапезную, где на изрядной груде дров плясали весёлые языки пламени, предложили великолепный ужин, а к нему столь же великолепное вино. Но они лишь успели завести беседу — колокол прозвонил к вечерне, и, повинуясь призыву, монахи поспешили прочь, оставив его вкушать пищу в одиночестве. Покончив с трапезой, он некоторое время сидел, сонно вслушиваясь в торжественное звучание органа, проникавшее во все части здания, а потом, гонимый смутным любопытством — выяснить, сколь велика братия в этом одиноком пристанище, орлиным гнездом прилепившемся к стылым вершинам Кавказа, он отыскал дорогу — а вели его звуки музыки — по длинным коридорам и узким извилистым переходам в глубокую пещеру, где и стоял сейчас, ощущая невыносимую скуку и вялое недовольство. В часовню он пришёл прежде всего, чтобы как следует рассмотреть монахов, а главное — их лица, но пока это представлялось невозможным: с того места, которое он вынужден был занять, видны были только спины.

«И кто знает, — размышлял он угрюмо, — сколько они ещё будут тянуть этот свой унылый латинский распев? Лжеверие, криводушие! Нигде от него не спрячешься, даже на диком Кавказе! Интересно, здесь ли тот, кого я ищу, или меня всё же ввели в заблуждение? О нём рассказывают столько всего противоречивого, что и не поймёшь, во что верить. Не верится, что он монашествует; глупо этому предаваться, оставив научное поприще. И какому изводу веры ни следовало бы это братство, абсурдности всей религиозной системы в целом это не отменяет. Дни религии сочтены, само отправление обрядов — это инстинкт трусов, реликт варварства, который постепенно стирается из нашей сущности прогрессом цивилизации. Мир уже знает, что творение — глупая шутка, мы все начинаем понимать её нелепость! И если даже исходить из того, что существует некий всевышний озорник-шарлатан, который, будучи надёжно укрыт своей незримостью, поддерживает, ради собственной забавы и наших мучений, существование столь бессмысленной и ненужной шутки, нам совершенно ни к чему восхищаться его остроумием и льстить его гениальности! Ибо жизнь состоит из обид и страданий; или мы собаки, чтобы вылизывать подминающую нас под себя руку?»

Тут песнопения внезапно смолкли. Орган продолжал звучать, как бы мелодично медитируя про себя в минорной тональности, сквозь которую зыбились мягкие верхние ноты, подобные проблескам света во тьме, — и тут один из монахов отделился от остальных и, медленно взойдя на алтарь, повернулся к остальной братии. За спиной у него лучился пламенный Крест, и будто бы лучезарный нимб очерчивал его высокую величавую фигуру; лицо, ярко освещённое и видное совершенно отчётливо, мгновенно впечатывалось в память своей изумительной силой, мягкостью и благородством. Жесточайший насмешник, привыкший издеваться над праведной верой

и лучшими добродетелями, мгновенно прикусил бы язык в присутствии подобного человека — человека, которого царственными одеждами окутывала благодать безгрешной жизни, придавая внешности его облик духовного авторитета и великолепия. При виде его безразличие незнакомца тут же сменилось неподдельным интересом — подавшись вперёд, он пристально вглядывался в монаха со смесью удивления и невольного восхищения; тот же простёр длани в благословении и заговорил вслух — латинские фразы гулко отдавались под сводами каменного храма, звуча мерно, с ритмичностью стиха. Вот как это звучит в переводе:

«Славься Господь, всевышний, вечный и всевластный!»

Дружный согласный хор братьев откликнулся:

«СЛАВЬСЯ ВО ВЕКИ ВЕКОВ! АМИНЬ!»

«Славься Господь, правящий Духами и повелевающий
Ангелами!»

«СЛАВЬСЯ ВО ВЕКИ ВЕКОВ! АМИНЬ!»

«Славься Господь, ибо любовь Его неизбывна!»

«СЛАВЬСЯ ВО ВЕКИ ВЕКОВ! АМИНЬ!»

«Славься Господь, именем Сына Его Христа,
Спасителя нашего!»

«СЛАВЬСЯ ВО ВЕКИ ВЕКОВ! АМИНЬ!»

«Славься Господь, податель радости былой,
настоящей и грядущей!»

«СЛАВЬСЯ ВО ВЕКИ ВЕКОВ! АМИНЬ!»

«Славься Господь, сила Воли Его и мудрость!»

«СЛАВЬСЯ ВО ВЕКИ ВЕКОВ! АМИНЬ!»

«Славься Господь, даровавший нам жизнь краткую,
смерть вождеденную и бессмертие после смерти!»

«СЛАВЬСЯ ВО ВЕКИ ВЕКОВ! АМИНЬ!»

Повисла пауза, и гром снаружи добавил собственное звучное «Славься!» к уже прозвучавшим, орган смолк, и монах, обратив лицо к алтарю, почтительно преклонил колени. Все присутствовавшие последовали его примеру, за исключением странника, который строптиво выпрямился во весь рост и, сложив руки на груди, с полной невозмутимостью рассматривал развернувшуюся перед ним сцену: он ожидал, что последует какая-то докучная молитва, но этого не случилось. Всё смолкло, тишину нарушали лишь стук дождя по световому фонарю наверху и завывания ветра. Под взглядом монаха пламенеющий Крест начал бледнеть, тускнеть — сияние всё меркло и наконец исчезло совсем, не оставив ни следа бывшего блеска, превратившись в огонёк, постепенно принявший форму семиконечной звезды, подвешенного в темноте рубина. Часовня погрузилась почти в полный мрак — путник с трудом различал белые коленопреклонённые фигуры, и окутанное тенью безмолвие будто наполнилось ощущением чего-то потустороннего — наперекор привычке с презрением относиться ко всем религиозным обрядам, путник ощутил нечто странное и новое, и это чувство завладело его воображением. Внезапно явилась ему странная мысль, что рядом с ним и братией находятся ещё и другие, вот только определить сущность этих «других» он не мог. Ощущение было смутное, тревожное, при этом очень сильное — и он глубоко вздохнул от облегчения, услышав вновь голос органа и увидев, что дверь часовни

распахнулась, впустив поток радостного света из наружного прохода. Вечерня завершилась, монахи поднялись и по двое пошли к выходу, причём не склонив головы и не опустив глаза долу с притворным смирением, но свободно и величественно, подобно царям-завоевателям, вернувшимся из славного похода. Глубже вжавшись в свой уголок, путник наблюдал, как они выходят, и вынужден был признаться себе в том, что редко ему доводилось видеть столь великолепные, здоровые и полные сил образцы мужества в полном цветении славы. И действительно, так и хотелось всмотреться в этих благородных представителей человеческой расы — они, подумалось путнику, могли быть воинами, властителями, императорами, кем угодно, только не монахами. Однако они были монахами — приверженцами некоего извода христианства, которое он так глубоко презирал — ибо на груди у каждого красовалось массивное золотое распятие, подвешенное на цепочке и закреплённое усыпанной самоцветами звездой.

«Крест и звезда! — задумался путник, заметив это блестящее великолепное украшение. — Символ общины, означающий, полагаю... что? Спасение и бессмертие? Увы, но эти невежды строят дома на зыбучих песках и возлагают все надежды и чаяния свои на два эти бессмысленных слова! Могут ли они всем сердцем верить в Бога? Или просто разыгрывают избитую комедию лицемерной веры?

Он продолжал отрешённо взирать на белоснежные фигуры — десять уже покинули часовню. Вот прошли ещё двое, потом ещё, самый последний был без пары, шествовал медленно, с мечтательно-задумчивым видом, будто бы глубоко погрузившись в свои думы. Он шагнул дальше, свет из открытой двери полностью залил его фигуру — то был монах, читавший семь славословий. Едва разглядев его лицо, путник порывисто шагнул вперёд и дотронулся до его локтя.

— Я прошу прощения! — торопливо произнёс он по-английски. — Полагаю, я не ошибся, ведь ваше имя — нынешнее или бывшее — Гелиобас?

Монах поприветствовал его лёгким изящным поклоном и улыбнулся.

— Имени я не менял, — произнёс он, — и по-прежнему зовусь Гелиобас.

Проникновенный взгляд его голубых глаз остановился, отчасти вопрошая, отчасти сочувствуя, на тёмном измождённом тревожном лице вопрошавшего; тот, избегая этого прямого взгляда, продолжил:

— Мне нужно поговорить с вами наедине. Возможно ли сделать это сейчас... нынче вечером... незамедлительно?

— Разумеется! — кивнул монах, будто бы вовсе не удивлённый этой просьбой. — Следуйте за мною в библиотеку, там мы будем одни.

И он повёл путника прочь из часовни, по устланному каменными плитами вестибюлю. Там встретили их двое братьев, те, что приняли и обиходили незнакомого гостя и, не обнаружив его более в трапезной, отправились на поиски. Однако, застав его в таком обществе, они с глубоким почтительным смирением перед тем, кто звался Гелиобасом, отступили в сторону, а он, молча кивнув им, зашагал дальше, путник же следовал за ним по пятам; вот они оказались в просторном, ярко освещённом зале, стены которого были полностью уставлены книгами. Войдя и закрыв за собой дверь, Гелиобас повернулся лицом к путнику — его рослая внушительная фигура в длинных белых одеждах заставляла вспомнить святого или евангелиста — и серьёзно, но очень любезно произнёс:

— Что ж, друг мой, я в вашем распоряжении! Как может Гелиобас, умерший для мира, послужить тому, для кого мир этот пока что составляет всё?

ГЛАВА II

ИСПОВЕДЬ

Ответ на вопрос последовал не сразу. Две или три минуты пришелец стоял неподвижно, глядя на собеседника отрешённым, задумчивым взглядом — тяжёлая двойная завеса его длинных тёмных ресниц придавала едва ли не сновидческий пафос его гордому прямому взгляду. Но вскоре самоуглублённость сменилась пренебрежительностью.

— Мир! — произнёс он медленно и горько. — Вы думаете, мне есть до него дело? Значит, вы неверно прочли мои мысли в самом начале нашего разговора, и ваша репутация провидца лишена всяческих оснований! Для меня мир — кладбище, полное изъеденных червями трупов, а его предполагаемый Создатель, которого вы так усердно сегодня славословили, — жалкий могильщик, кто закапывает в землю своё несчастное Творение, кладбищенский вор, кто ненасытно его пожирает! Я и сам из числа истерзанных и умирающих, и пришёл к вам лишь потому, что вам, возможно, удастся ненадолго даровать мне забвение моей горькой участи, поманить миражом жизни, которой нет и быть не может! Чем вы можете мне послужить? Дать мне несколько часов отдохновения от безысходности! О большем я не прошу!

Пока он говорил, лицо его побледнело, осунулось, как будто его терзала некая нутряная, с трудом подавляемая мука. Монах Гелиобас выслушал его с терпеливым вниманием, но ничего не сказал: путник, подождав отклика и не получив, продолжил более хладнокровным и сдержанным тоном:

— Полагаю, слова мои кажутся вам странными — хотя и не должны, если вы, как о вас говорят, исследовали все разнообразные фазы чисто умственного отчаяния, которое в наш чрезмерно культурный век разбивает жизни